



КОНЧИНА АННЫ АХМАТОВОЙ

А. ТВАРДОВСКИЙ Достоинство таланта

Имя Анны Ахматовой — одно из немногих имен русской поэзии XX века, отмеченных в десятилетиях неизменною читательских симпатий, хотя революционные потрясения и социально-исторические перемены этих годов, казалось бы, способны были безвозвратно предать забвению этот негромко и с большими перерывами звучавший лирический голос.

Это тем более примечательно, что русский читатель по глубокой традиции отдает предпочтение поэзии отчетливо и с наибольшей энергией выраженных гражданских мотивов. Поэзия же Ахматовой никогда не была на гребне общественно-политических событий, и в этом смысле ее нельзя сравнивать не только с голосом Маяковского, но и с куда более близким ей А. Блоком, посвятившим революции последний высокий порыв своей поэтической жизни.

Однако круг читателей и почитателей стихов Анны Ахматовой, которая и смолоду не была обойдена признанием, в последние годы неизмеримо расширился. Об этом говорят тиражи ее книг, которых не найти в продаже, и тиражи периодических изданий, предоставлявших свои страницы для ее стихов последнего времени.

Этому выходу негромкой, интимной по самой своей природе поэзии Анны Ахматовой из почти что внутрилитературной зоны к большому и, так сказать, многослойному читателю не могли помешать крайне несправедливые и грубые нападки на нее, имевшие у нас место в известную пору. Умолчать о них перед свежей могилой поэта было бы грешно еще и потому, что литературная и жизненная судьба Ахматовой была на редкость нелегкой и через все ее испытания она прошла с выдержкой и достоинством, которые не могут не вызывать уважения. Что же

касается самих нападков, то они давно отведены жизнью и, более того, вызвали, как всякая предвзятая и бездоказательная критика, наименее входящую в расчеты такой критики реакцию читателей.

Поэтическое имя Ахматовой в суммарном читательском представлении — синоним главным образом лирики любовного чувства. Действительно, тема любви в разнообразных, большей частью драматических оттенках — наиболее развитая тема стихов Ахматовой. Об этой теме мы до сих пор говорим применительно к самым разным поэтам, как бы взывая о снисходительности к ней. Между тем именно этому предмету принадлежит господствующее место в мировой лирике. И не кем-нибудь, а великим революционером и мыслителем Чернышевским было сказано, что не от мировых вопросов люди топятя и стреляются и что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли. То, что столь существенно для отдельного человека, что часто определяет его судьбу, коверкая ее или награждая наивысшей человеческой радостью, не может не составлять живейшего интереса для всех.

Предчувствие и зарождение любви, испытания любви, память любви, ее безысходные утраты, раскаяния и «зароки» — эти и многие другие мотивы любовной темы не есть открытие Анны Ахматовой в поэзии. Казалось бы, ее особенность лишь в том, что лирический герой ее миниатюрных стихотворных новелл — не он, как это по преимуществу было в известнейших образцах классической лирики, а она, любящая женщина, носительница бремени неразделенной или утраченной любви с ее особой женской «памятью сердца». Но это менее всего так называемая женская поэзия, или, как еще говорят, поэзия «дамская» с ее ограниченностью мысли и самого чувства, представленная, например, у нас в прошлом веке небесталанной Е. Ростопчиной.

Это поэзия, чуждая жеманства, игры в чувство, мелочных переживаний, флирта, бездумной «бабьей» ревности и тщеславия, душевного эгоизма. Владений этой поэзии не касается даже тень пошлости — многоликого и страшнейшего врага любовной лирики, не в пример, к слову сказать, некоторым экзерсисам и нынешних молодых поэтов обоого пола. Любовь у Ахматовой не праздная причуда и не просто дань возрасту, нерассуждающей страсти. Она полна глубокого душевного содержания, она — мера личности, незаменимая и возвышающая «повинность» человеческого сердца, откровенная в своей нетерпимости и нераздельности.

Должен на этой земле испытать
 Каждый любовную пытку.
 Жгу до зари на оконце свечу
 И ни о ком не тоскую,
 Но не хочу, не хочу, не хочу
 Знать, как целуют другую...

Поэзия Ахматовой — это прежде всего подлинность, невыдуманность чувств, поэзия, отмеченная необычайной сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала. И ее, между прочим, никак нельзя назвать исключительно поэзией сердца. В целом — это лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего современника сложной и величественной эпохи, хотя бы и отраженной в этом дневнике далеко не во всей полноте и значительности.

Главная и неизбывная тема Ахматовой — любовь — еще задолго до охлаждающей умудренности зрелого возраста осложняется и обогащается другой «повинностью» ее жизни — призванием поэта. Поэзия — высший суд, перед которым смиряется даже неотвратимая и безоглядная сила любовных переживаний молодости. Общение поэта со своей музой — потребность не менее властная, ценность жизни не менее высокая.

Когда я ночью жду ее прихода,
 Жизнь, кажется, висит на волоске.
 Что почести, что юность, что свобода
 Пред милой гостьей с дудочкой в руке...

Только в свете поэзии любовь приобретает свою подлинную сущность, становится чем-то неизмеримо более высоким, чем она может быть сама по себе, и уже не противостоит вездесущей и безусловной «прелести милой жизни». В этом, может быть, и есть секрет живучести ахматовской лирики, — она на редкость жизнелюбива и вечна.

Высоким нравственным кодексом определяются и характерные черты поэтического мастерства Анны Ахматовой. Это — благородный лаконизм, немногословная емкость речи, когда за скупыми строчками стихотворения живет возможность многих тонких подробностей и оттенков.

Можно было бы отдельно говорить о многих замечательных чертах поэтического мастерства Ахматовой: о ее тонком чувстве русской природы, об абсолютном слухе к интонациям родной речи, о неотразимой психологической точности выражения душевных движений, о сложной простоте, о непринужденности и свободе интонации ее стиха, об особой доверительности ее

поэтических признаний, так подкупающих читателя, незримую дружбу с которым она ценит превыше всего на свете.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг —

И язык ее — это никак не «язык цветов», не язык, специально предпочтительный для выражения «нежных чувств», а живой, часто будничной и обиходно бытовой, как бы даже нарочито прозаический язык.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле,
Сочинял же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

Поэтическая школа Ахматовой — при всех особенностях ее стиля и при наличии ближайших влияний, испытанных в молодости, — это в первую очередь школа пушкинская, школа, откуда вышли и идут столь многие и столь разные мастера нашей поэзии. Эмоциональная сила ахматовской лирики оказала и оказывает очевидное влияние на многообразное развитие нашей поэзии, в частности в лице ее дочерних и внучатых по отношению к возрасту Ахматовой представительниц.

Ахматова редко обращалась к непосредственно общезначимой в идейно-политическом смысле теме, но когда она это делала, она не снижала своей взыскательности к слову, оставалась сама собой в своей глубокой искренности и достоинстве своего неподкупного таланта.

1917 год. Смятения и колебания известной части русской художественной интеллигенции, не понявшей многого в революции, отвернувшейся от Блока и Маяковского, вопли о неизбежной гибели русской культуры, призывы порвать с родиной по примеру контрреволюционной эмиграции.

В много раз цитированном стихотворении этого года «Мне голос был...» А. Ахматова дает недвусмысленную отповедь этой «речи недостойной», оскорбляющей ее «скорбный слух» истинной дочери России, не мыслящей себе жизнь вне Родины.

1942 год, год тяжелейшего для Родины положения на фронтах Отечественной войны. Неколебимой уверенности, беспредельной преданности родной земле исполнены прозвучавшие тогда стихи Ахматовой «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет...

1944 год:

Белым камнем тот день отмечу,
Когда я о победе пела,
Когда я победе навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

1946 год:

...Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз, —
И я свой город увидала
Сквозь радугу последних слез...

Лирика Анны Ахматовой — неотъемлемая часть нашей национальной культуры, одна из живых и не утрачивающих свежести ветвей на древе великой русской поэзии.

В самом деле, как далеки от нас словесная фактура и стихотворный строй поэзии, скажем, Бальмонта или Северянина, занимавших производимым ими шумом куда большее внимание публики, чем сдержанная и независимая от последней литературной моды поэзия Ахматовой.

Но вот одно из ее стихотворений 1915 года:

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.
И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

Когда спустя полвека один наш горе-поэт напечатал это стихотворение под своим именем, то плагиат не был замечен редактором, вероятно, не только потому, что вещь эта не из самых заметных у Ахматовой, но главным образом из-за отсутствия малейшего налета устарелости фактуры стиха, — такое стихотворение вполне могло быть написано и в 1965 году. А «деревья весело-сухие» даже и теперь производили бы впечатление не совсем обычного словосочетания.

«Свежесть слов и чувства простота» — неотъемлемые достоинства поэзии Ахматовой, сообщающие ей долголетнюю неуязвимость в полном соответствии с так отчетливо выраженным поэтическим заветом:

Нам свежесть слов и чувства простоту
 Терять не то ль, что живописцу — зренье,
 Или актеру — голос и движенье.
 А женщине прекрасной — красоту?..

«Бег времени» — этим названием объединила Ахматова почти все написанное ею за более чем полувековую литературную жизнь, прожитую нелегко, но честно и красиво, с достоинством подлинного таланта.

Для старой, изнуренной болезнью женщины Анны Андреевны Ахматовой «бег времени» окончен. Для ее чистой и внятной, живо откликающейся в людских сердцах поэзии — долгий путь вместе с «Бегом времени».

И. ГРИНБЕРГ

Весь настезь распахнут поэт

Читатели первых сборников Анны Ахматовой «Вечер» и «Четки», вышедших незадолго до революции, никак не могли предугадать, какие мощные, трагедийные и вместе с тем жизнеутверждающие ноты впоследствии определяют звучание ее строф.

В начале своей литературной деятельности Анна Ахматова принадлежала к группе акмеистов, выступавших против символистской отвлеченности и неопределенности, прокламировавших возвращение к пластическому образу, но остававшихся на почве идеалистических представлений о творчестве и жизни.

Трудно, да и бесполезно гадать о том, как сложилась бы творческая биография Ахматовой, если бы она не принадлежала к поколению поэтов, встретившихся с войной и революцией. Старший современник Ахматовой — Александр Блок в те годы уже ясно различал, «какие огненные дали» открываются зорким, пытливым взорам. Владимир Маяковский звал, торопил пришествие революции. Зарницы надвигающихся бурь проблескивали и в стихах Валерия Брюсова, Андрея Белого и других поэтов, учившихся слушать время, понимать его требования. И вскоре новые — строгие и резкие — интонации стали слышны и в стихе Анны Ахматовой, еще недавно безмятежно отражавшем, словно в водном зеркале тихого пруда, дорогие сердцу поэта предметы и чувства.

Ахматовой предстояло пройти через суровые испытания, и она выдержала их, ее голос окреп, налился прежде не свойственной ему мощью, уверенностью.

Это превращение совершалось постепенно, шаг за шагом, и было именно поэтому глубинным и бесповоротным. В книге «Подорожник» есть стихотворение, написанное высоким, торжественным слогом, рассказывающее о том, как был сделан выбор, который навсегда определил путь Ахматовой, уберег от унижения и позора, открыл просторные и светлые дали. Некий искусительный голос звал ее оставить Россию, обещал покой и утешение:

Но равнодушно и спокойно
 Руками я замкнула слух,
 Чтоб этой речью недостойной
 Не осквернился скорбный дух.

Поэт, каждая строка которого еще недавно дышала уютом и довольством, теперь произнес слова возвышенные, говорящие не о быте, а о бытии.

Нет, Анна Ахматова не удалилась в горние высоты, покинув и позабыв землю, радости которой она так ценила, воспроизводила так бережно. Вместе с тем она не могла вести свою речь прежним складом: годы шли боевые, скупые на улыбку и ласку, богатые невзгодами и лишениями. И странное дело, стихи Ахматовой, подчас скорбные и горестные, в то же время как бы насыщаются новыми соками, расцветают яркими красками.

Она, как и прежде, пишет пейзажи, но они выглядят иначе. Она продолжает говорить о любви, но это другая любовь:

Небывалая осень построила купол высокий,
 Был приказ облакам, этот купол собой не темнить.
 И дивились люди: проходят сентябрьские сроки,
 А куда провалились студеные, влажные дни?
 Изумрудною стала вода замутненных каналов,
 И крапива запахла, как розы, но только сильнее.
 Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
 Их запомнили все мы до конца наших дней...

Русская поэзия с ее великолепным изобилием образов знает немного картин, столь роскошных и дерзких. Аскетический облик прекрасного города, перенесшего войну и разруху, вдруг оказывается по-особому, празднично украшенным; крапива здесь ароматнее роз, мутная зелень каналов отливает изумрудом, солнце похоже на мятежника и сама осень оборачивается весной... Какой же щедрый расцвет сердца угадывается за таким пиршеством метафор и эпитетов!

Он сказывается во всем. Когда Ахматова пишет о доброй вести, способной оживить душу, — «не для страсти, не для забавы,

для великой земной любви», кажется, что она противопоставляет свои вчерашние и сегодняшние стихи. Любовь в изображении больших поэтов далека от мелочной суеты, ей чужды капризы и прихоти, наигранность и аффектация; она человечна и, значит, серьезна, великодушна, естественна. Именно эти черты и выступили так решительно в стихах Ахматовой, знаменуя глубину и размах перемен, преобразивших облик поэта.

То, что казалось непреложным, постоянным, единственно реальным, стало воспоминанием, пройденной ступенью, достоянием прошлого. Его можно и надо было судить, чтобы определить настоящую ценность и самой сути былого, и собственных представлений о нем. *Память* входит в стихи Ахматовой действенным, не знающим усталости началом, и «память сердца» здесь тесно слита с «памятью разума», они выступают заодно, и переживание идет рядом с анализом, исследованием, обоюдно нужные, питающие друг друга.

Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать «1913 год» — поэму, или, как назвала ее Ахматова, «Петербургскую повесть», под которой стоит: «1940—1962». Нелегко найти строки большей проникновенности и непосредственности. И это понятно: «Мне снится молодость наша», — так написано во «Втором посвящении», переживания юных лет всегда волнуют и будоражат, остаются неиссякаемым источником счастливой тревоги и покоя. Мастерски найденный ритм, напряженный, стремительный, словно созданный для обещаний и предвестий, вместе с тем удивительно гибок и ёмок; он открыт и душевным бурям, и потрясениям историческим. А это и требуется Ахматовой: в своей поэме она и вместе с друзьями своей юности, и над ними — над тем, что отгорело, отошло и видится теперь с высоты последующих великих свершений.

Вот потому-то сквозь «Петербургскую чертовню», сквозь суматоху святочного маскарада последнего предвоенного года неотвратимо и властно просвечивает истинная реальность, то, что вскоре окажется очевидной для всех явью.

И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной
Непонятный тайлся гул...
Но тогда он был слышен глухо,
Он почти не касался слуха.
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи,
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,

А по набережной легендарной
 Приближался не календарный —
 Настоящий Двадцатый Век.

Прекрасные, мудрые строки! Их мог написать поэт, ощутивший и понявший разницу меж кажущимся и подлинным, научившийся различать в ворохе фактов и судеб черты эпохи, без времени — не календарного, а исторического...

В своих раздумьях о человечестве и отчизне поэты часто имеют опорную, исходную «точку» — родное место, любовь к которому не заслоняет вселенной, а, напротив, побуждает с тем большей силой постигать ее. Старинная формула — «городу и миру» здесь приобретает новый смысл, новое наполнение. Для Ахматовой подобной «точкой» и впрямь был город, один из красивейших на земном шаре, — Ленинград.

Был блаженной моей колыбелью
 Темный город у грозной реки —

строки эти написаны еще в 1914 году. И ровно полвека спустя:

А я один на свете город знаю
 И ощупью его во сне найду.

Привязанность эта проверена, подтверждена и словом, и делом. Точнее, словом такой силы, что оно стало деянием. «Первый дальнобойный в Ленинграде» — так называется одно из тех стихотворений, которые открывают сюиту стихов о Великой Отечественной войне. А рядом строки, обращенные к той, «что сегодня прощается с милым», славящие несравненный подвиг ленинградцев, звучащие как присяга, как клятва в верности Родине и родной песне...

Не странно под пулями мертвыми лечь.
 Не горько остаться без крова, —
 И мы сохраним тебя, русская речь,
 Великое русское слово.
 Свободным и чистым тебя пронесем
 И внукам дадим, и от плена спасем
 Навеки!

На этих строках лежит отблеск героических дней — они были созданы в феврале 1942 года, самого тяжелого периода ленинградской блокады. А произносить их с душевным трепетом будут новые и новые поколения, потому что они воплотили вечное, непреходящее. Здесь заявила о себе важнейшая закономерность образного творчества: причастность к общенародным

трусам дает возможность поэту познавать нетленные ценности. В годы Великой Отечественной войны Анне Ахматовой так же, как и всем талантливым и чутким поэтам советской земли, заново открылось величие самых простых черт нашего жизненного обихода.

Возвращаясь к стихам, написанным Ахматовой на четверть века раньше, в годы Первой мировой войны, замечаешь, как изменилось умонастроение поэта. *Тогда* — растерянность, уныние, ощущение заброшенности и безнадежности. *Теперь* — возмущение, гнев, стойкость, вера. Скорбь по ушедшим, вырванным из жизни, велика, горе огромно, но и в этих пронзительных строках присутствует нравственная сила, живет неколебимая решимость, которая и позволяет превозмогать все лишения и муки. Предчувствием победы пропитаны самые печальные и безжалостные строки, вышедшие из-под пера Анны Ахматовой, оттого, что она уже освободилась от самого тягостного и мучительного из всех душевных состояний — вышла из плена одиночества.

На грани десятых и двадцатых годов не однажды возвращалась она к друзьям юности, вспоминая одних с отчуждением, других с сожалением. Но теперь выяснилось, что она вовсе не осталась покинутой и непонятой; напротив, душевные, кровные связи соединили ее с неисчислимым множеством людей. «А вы, мои друзья последнего призыва!» — так начинается одно из стихотворений Ахматовой военного времени, и как радуется поэта ощущение близости к своим современникам и соотечественникам.

Причастность к своему времени давала поэту силы в годы жестоких испытаний. И она же обостряла зоркость и чуткость художника, когда происходила встреча с прежде неизвестными краями и людьми. «Так вот ты какой, Восток!» — с удивлением и восторгом восклицает Ахматова, когда пути приводят ее в Узбекистан, в Ташкент, ставший ей, как и многим ленинградкам и москвичкам, приютом в годы войны. Встреча с Азией пробудила в ней новые чувства.

Да, знакомство с новым, неизвестным и пришедшимся поэту по душе обязательно пробуждает в нем, вызывает к действию чувства и мысли, дотоле дремавшие, находившиеся «под спудом». Ощущение, которое Ахматова запечатлела со свойственной ей совершенной пластичностью, наверное, возвращалось к ней многократно. И тогда, когда, вернувшись в победивший и возрожденный Ленинград, увидела на косе, еще недавно топкой и пустынной, «светлый сад, привольный, ясный, под огромным небом», заложенный ее согражданами Приморский парк Побе-

ды. И тогда, когда делилась с нами, читателями, сокровеннейшими тайнами поэтического творчества.

Произнося дорогие ей имена Пушкина и Блока, Маяковского и Анненского, никогда Ахматова не отдает их прошлому; созданное ими — неотъемлемая часть нашего сегодня. И в этой сращенности с настоящим и грядущим — основа ее раздумий о стихе, его возникновении и цели. Цикл «Тайны ремесла» создавался не один год (под ним дата: 1936—1960). Но он един по сути и по направлению, в нем исповедуется уважение и к труду поэта, и к чудесной силе образной речи, и к своему читателю, без которого и самое творчество теряет свой смысл.

Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт... —

так начинает Ахматова раздел «Читатель». А завершает:

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.
Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Великое счастье для художника слова — видеть в читателе друга, знать, что твои признания, открытия, утверждения не пропадают даром, не рассеиваются в пустоте, не наталкиваются на непонимание, а поглощаются, воспринимаются, находят ответный отклик. Не в этом ли наилучшее, убедительнейшее свидетельство того, что поэт живет не только во времени, но и вместе с временем...

А. Л. СУРКОВ

Поэты не умирают

Почти восемь десятилетий вместил в себя жизненный путь Ахматовой. Пролег он сквозь самые бурные, исполненные великих потрясений и перемен годы в истории нашей родины. Блистательная литературная молодость Ахматовой освещена ущербными лучами заката многосотлетнего, обветшалого, изжившего себя уклада русской жизни. Как человек и поэт, она была свидетелем рождения нового мира и объектом его воздействий на тех, кому надо было найти в себе силу проститься

с уходящим прошлым. Жизненная дорога Ахматовой в первые годы и десятилетия после Октября не была пряма и ровна; ее не миновали трагические противоречия, неприятия, сомнения. Все это усугублялось и нелегкими обстоятельствами личной, житейской ее биографии.

Но в смутные для русской интеллигенции первые после-октябрьские годы, когда многие талантливые люди заблудились в потемках своих предубеждений и, как обломки кораблекрушения, были выброшены на бесплодный берег белой эмиграции, Анна Андреевна Ахматова, казалось бы так далекая в своей интимной, камерной лирике от гражданских чувств, наперекор всем трагическим подробностям своей биографии тех лет не поплыла по мутному течению, увлекшему многих ее литературных современников и сверстников.

В те суровые и трудные дни она написала в непривычных для нее «некрасовских» интонациях маленькое стихотворение, вместившее силу ее большой души:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух.
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

В строках этого стихотворения — разгадка всей сложной диалектики жизненной и литературной судьбы Анны Ахматовой в послереволюционные годы. В них же и разгадка органического превращения поэтессы Ахматовой в мужественную, цельную в своем чувстве патриотизма советскую поэтессу. Непривычная и не присущая ахматовской лирике дореволюционных и первых послеоктябрьских десятилетий стихия гражданственности вторглась в ахматовские стихи, дала им отчетливый исторический и социальный колорит, ни в малой мере не разрушив того, что было для нее «лица не общим выраженьем».

И есть неотвратимая закономерность в том, что благотворный перелом этот совершился в годину предельного потрясения всех основ народной жизни, вызванного вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков, и что великие

страдания и великий героизм ее земляков-ленинградцев раскрыли лирическому слуху Ахматовой трагическую и героическую музыку истории. Поэтесса поэтапно-интимной темы в молодые годы, на второй половине жизни, раскрылась как искренний, страстный гражданский лирик.

Я никогда не забуду, как после опубликования в «Правде» стихотворения «Мужество», открывающего новую полосу в развитии ахматовской лирики, на большом вечере стиха в прифронтной Москве, только что отогнавшей от своих стен фашистов, я читал эти строки перед многими сотнями защитников нашего города и по их глазам видел, чувствовал животворную силу их воздействия на умы и сердца, потому что слова

...мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово,
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим и от плена спасем
Навеки! —

были выражением дум и настроений и тех, кто сидел в зале, и миллионов советских людей от гремящего переднего края войны до самых далеких градод и весей советского тыла.

Сразу же после войны Ахматову ждали новые испытания. Но сердце поэтессы пересилило трудные переживания тех дней, и пишущему эти строки через некоторое время после 1946 года привелось публиковать в редактируемом им журнале ахматовские стихи, продолжившие новое направление в ее лирике.

Анна Андреевна Ахматова из года в год радовала читателей новыми талантливыми стихами, в которых звучала перегоревшая боль пережитого, и неизменно радостное чувство природы, и обретенное в огне войны чувство людской общности, тревога за человечество, не нашедшее успокоения по окончании прошлой большой войны.

Полтора последних десятилетия были в жизни Анны Андреевны годами завоевания миллионов новых читателей у себя на родине и широкого признания ее творчества за рубежом.

Мы, группа советских поэтов, присутствовавших на вручении в Катании на Сицилии советской поэтессе международной премии «Таормина», видели, с каким достоинством — и человеческим, и поэтическим — принимала эту премию наша соотечественница, чувствуя себя русской, советской поэтессой.

С тем же достоинством советского человека, гражданина нашей великой Родины принимала Анна Андреевна в старинном университетском городе Оксфорде звание почетного доктора.

Такой она была на протяжении всей жизни. И недаром, обращаясь к читателям своих стихов, изданных в 1961 году, она писала:

«Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных».

Истинные поэты не умирают в тот миг, когда перестает биться их сердце, когда останавливается пульс.

Это больше, чем ко многим другим, относится к Анне Андреевне Ахматовой.

В. ВЕЙДЛЕ

Умерла Ахматова

Помню ее над гробом Блока, при последнем прощании, в церкви Смоленского кладбища —

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном...

Прошло много лет. Теперь похоронили и ее. «Никого больше не осталось». Это мы говорим: современники, почти сверстники ее. Знаем, конечно, что требует это оговорок, но пусть другие делают их за нас. Достаточно правды в этих словах, чтобы нам их простили даже те, кто еще не родились. Они поймут: каждый раз вкушали смерти и мы, когда умирали наши поэты; и когда нас не будет, все будет так, как если бы мы умерли с ними заодно.

Не скоро наступит для русской поэзии время, сравнимое с тем, концом которого можно считать похороны Блока, а вторым, самым уж окончательным концом погребение Ахматовой. Она ведь была не на сорок пять, а лишь на девять лет моложе его. Поэзия ее с полной ясностью определилась рано, хотя это вовсе не значит, что не раскрылось в поэзии этой, за последние десятилетия, много нового и значительного, чего прежде предвидеть было нельзя. Однако голос ее все-таки навсегда остался тем же, который зазвучал в первой книге ее стихов, вышедшей в 1912 году. Многие услышали его тогда же, распознали его единственность; трудно было ошибиться: такого тембра, таких

интонаций, как раз тем и волнующих, что совсем «комнатных», разговорных, в русской поэзии еще не слышалось. Голос был женский, темы точно так же сплошь были женские или девичьи, и лиризм их был такой непосредственный, личный, что стихи эти почти могли показаться выдержками из писем или дневников. Но этим оценившие их должным образом не обманулись: удивил и восхитил их именно контраст между этой интимностью и строгой выверенностью его, не допускающей никакого «избытка чувств» и никакого многословия. Очень опрометчиво сравнивал впоследствии Андрей Левинсон (для французов, правда, но зачем же было их обманывать?) Анну Ахматову с Марселиной Деборд-Вальмор, поэтессой, поэзии не чуждой, но которая вечно, с распущенными волосами, перед зеркалом и при свечах, писала письма, длинные письма оперным, очень оперным Онегиным. У Ахматовой, с первых ее шагов, никаких нет признаний, заклинаний, душеизлияний. Ее лирика драматична, но как раз потому, что обходится без «экспозиций»: одни пятые акты, и отнюдь не мелодрам.

Скорей уж Христину Россетти, но и то лишь издали, она напоминает, а наши две раньше прославившиеся поэтессы вовсе не похожи на нее. Стихи Каролины Павловой — мужские, да и всего чаще очень книжные. Зинаида Гиппиус неизменно, слагая стихи, именovala себя в мужеском роде; чтобы стать поэтом, ей пришлось поэтессу в себе зачеркнуть. Ахматова стала одним из драгоценнейших наших поэтов, оставаясь поэтессой, женщиной. «Стала» тут и не совсем даже уместно: голос был у нее на редкость свой, своеобразия завоевывать ей почти не приходилось: оно было ей подарено. Есть в первой книге стихотворение («Вечерняя комната»), где хризантемы и георгины Анненского сочетаются с клавесинами, саше и севрскими статуэтками Кузмина (написавшего предисловие к этой первой книге), но ученичества в ней мало, даже хризантемы и саше переложены на ахматовский голос; а вскоре будут написаны и в ту же книгу войдут такие стихотворения, как «Сероглазый король», романтическая и (может быть) скандинавская баллада, строк на двести-триста по скромному расчету, вправленная, однако, с поразительным мастерством в семь двусигий, или «Рыбак», стихотворение такой четкости рисунка и такой меткости прицела в каждом своем слове, что Гумилев мог бы его напечатать в качестве манифеста той поэтики, которая точней, чем его дарованию, отвечала дарованию Ахматовой, но которой не Ахматова дала нелепое имя акмеизма.

Одно из самых ранних стихотворений (1909 года) начинается стихами, поражающими своей неукрашенностью, «прозаичностью» (конечно мнимой):

Подушка уже горяча
С обеих сторон.

В 1911 году написаны знаменитые строчки:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Это свидетельства драматичности ахматовской лирики: выразительны не сами слова, но изображенное ими; требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью. Но и сосредоточеннейший лиризм этой лирики достигается словами, почти столь же обиходными, однако смысл которых уже нельзя оторвать от их звука и от интонации фразы (в данном случае вопросительной):

Я места ищу для могилы.
Не знаешь ли, где светлей?

или — как в последней строчке того же стихотворения («Похороны»),

И у ног голубой прибой —

от повторения звуков, ради которого слова (пусть бессознательно) и отобраны, при полной сохранности, однако, их первичного, естественного смысла.

В первой же книге, таким образом, отчетливо проявились те два устремления поэтической мысли, из сочетания и взаимодействия которых выросла постепенно вся поэзия Ахматовой. Очень наглядно ложатся они одно рядом с другим (сперва второе, затем первое) в четверостишии, которым начинается одно из немедленно прославившихся стихотворений второго сборника (1913):

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Третья и четвертая строчки хоть и не столь драматичны, но столь же «сценичны», как приведенные выше о подушке и перчатках, тогда как две первые живут «музыкой» и «невыразимым», а поэтому и почти той же, а не другую жизнью живут с

тех пор, как «невыразимым» заменило первоначальное «невыносимым». Устремление, столь ярко сказавшееся в последних двух стихах, больше обратило на себя внимание и сильнее, чем другое, определило поэтику, которой покровительствовал, не всегда ей следуя, Гумилев; но для самой Ахматовой характерны оба, в нераздельности их, да и вообще слишком подлинным была она поэтом, или слишком исключительно поэтом, чтобы свои приемы ощущать приемами, и тем более чтобы учитывать усвоение их другими. Ей подражали, но ее это не интересовало. Ее примеру, кроме того, следовали более одаренные люди и более плодотворно, чем примеру Гумилева. Для историков литературы это важно, ей же вряд ли казалось это существенным: совсем не была она литератором и больше всего ценила поэтов, всего меньше похожих на нее.

Поэтом она была, с детства и до конца дней, жизненно, всею жизнью, и в жизни, а не над нею; то есть, конечно, и «над», но не отрываясь от нее. Так — всех настойчивей в России — жил Блок, но отнюдь не все поэты, даже очень значительные, так живут; и уж вовсе нельзя отсюда заключать, что «средством» она «все в жизни» считала «для ярко-певучих стихов», как это пошловато сказано у Брюсова. Такое понимание и жизни, и поэзии может удовлетворить лишь очень незначительного поэта. Ахматова не покупала у жизни стихо-возбудительных средств, но жизнь свою осмысляла поэзией и, живя, осмысления этого не забывала. Да и не одной своей жизнью она жила. «Вечер» и «Четки» еще позволяли, быть может, этого не замечать, но не то, что последовало за ними. Драматически заостренный лиризм ее дарования не только допускал выход за пределы «своего», но и требовал такого выхода, требовал стихов не от своего лишь имени, требовал жизни в других и за других.

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в год один —

не она воспела войну (или пошла на войну), но в «Белой стае» мы прочли не какие-нибудь, а вот эти стихи (1916 года) о ее начале, как и два столь же достойные темы стихотворения, написанные на другой день после того начала и впервые опубликованные в том же еще 14-м году. Не о ее другие стихи:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
 Другу шила я.
 Любит, любит кровушку
 Русская земля.

И эти не о ее сыне:

Для того ль тебя носила
 Я когда-то на руках,
 Для того ль сияла сила
 В голубых твоих глазах!
 Вырос стройный и высокий,
 Песни пел, мадеру пил,
 К Анатолии далекой
 Миноносец свой водил.
 На Малаховом кургане
 Офицера расстреляли.
 Без недели двадцать лет
 Он глядел на Божий свет.

Совершеннейшее стихотворение; да и первое тоже*. Распространяться о совершенстве его совестно, из-за темы и соответствия теме, в котором совершенство и состоит; а все-таки, как мелодично и воздушно «Анатолии далекой», после чего неверная рифма, чуть дальше, ранит, в сердце бьет еще верней; и как точно: «мадеру», как еще больней для тех, кто помнит, что моряки у нас именно мадеру пили всего охотней. Так что есть тут и «звенела музыка», и устрицы или перчатка не на ту руку, но в другом объеме, в широком, которая личной, «своей» жизни не исключает, но которую Ахматова, 20 июля 1914 года, раз навсегда, включила в личную свою жизнь.

* * *

Еще на западе земное солнце светит,
 И кровли городов в его лучах блестят,
 А здесь уж белая дома крестами метит
 И кличет воронов, и вороны летят.

* О нем скажу, что помечено оно «1914», но до «Анно Домини» как будто в печати не появлялось; не исключена возможность, что помечено оно неправильно. Слова о том, что «любит кровушку» русская земля, подходили бы скорей к дате более поздней. После того как статья эта была напечатана, Г. П. Струве подтвердил в письме ко мне (9 марта 1967) мое предположение, сославшись на «Бег времени» (1965), где стихи эти датированы 1921-м годом. Второе стихотворение датировано 1918-м годом.

Я познакомился с ней лишь через два года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто в 23-м и в первой половине следующего года. Она все приняла, и кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Оценка происшедшего и происходившего подразумевалась; не было надобности об этом и упоминать. Перед моим отъездом Анна Андреевна просила меня навести в парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы она решилась отправить его в Париж. Я справок не наводил, не очень в это предприятие верил, да и писать ей боялся, чтобы ей не повредить. Сама она никуда уезжать не собиралась. Ее решение было непреложно; никто его поколебать не мог. Попытались многие, друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Часть их переходила границу тайно; они предлагали перевести и ее. Такого же рода предложения получала она и от уехавших. С улыбкой рассказывала мне об этом. Я ее уезжать не уговаривал, и не только из робости; не стал бы уговаривать, даже если был бы старше ее и связан с ней давнею большою дружбой. Я чувствовал и что она останется, и что ей нужно остаться. Почему «нужно», я, быть может, тогда и не сумел бы сказать, но смутно знал: ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями в стране, которая, для нее, продолжала зваться Россией.

Приближалась она тогда к тридцати пяти годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый, руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею: старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом — прекрасным и особенным скорее, чем красивым, — но и всем своим обликом была она незабываемо необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо (было кому и научить, если бы сама не догадалась). Иногда поэтому, в обществе людей не близко ей знакомых, проявлялась у нее некоторая манерность. Зато как бесконечно была она проста, мила, умна, когда угощала меня — поклонника, но не претендента — самодельным печеньем с чашкой кофе, и никого не было при этом или

была одна, нежно любимая ею «Олечка» (Глебова-Судейкина). Читала, если попросить, стихи; прочла однажды, по моей особой просьбе, «У самого моря» (там, всегда мне казалось, в движении, в пении стиха есть что-то, из чего родилось все самое ахматовское в Ахматовой). О себе она не говорила, болезненно-близких имен (Гумилева, например) никогда не произносила; но об одном — радуюсь — я от нее узнал, не житейском, но касающемся писания стихов, а значит, жизненном, и для нее, жизнью поэта живущей, существенном. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла, пера в руке держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда читовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра, в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом, — а если не было шлейфа, было легко, на нее глядя, шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающей безличные фразы такого (от Союза писателей) приветствия было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных, вспоминаю, как она их тщательно выводила; коротенькие, а на второй устала, подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу это вынашивание стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла... И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба.

Сорок два года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали (трудно в этом сомневаться) лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас, здешних, ставила себя на наше место (например, когда писала стихотворение свое — одно из лучших ею написанных — о Лотовой жене). Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже: и нам благодарить ее надо за то, что она осталась там.

Даже и почерк стал как будто побойчее. Литератором пришлось сделаться; не банально, положим, а достойно (писала о Пушкине, да и так, что дай Бог всякому «пушкинисту»). Переводами пришлось заняться, не всегда по своему выбору, не все-

гда с языков, ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд (свирепейшего из них, Жданова, помянули казенной хвалой за несколько дней до ее смерти). Пришлось молчать, — и вообще молчать, и молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать — в стихах, в стихах... Многое пришлось. Но если бы не осталась, кто бы тогда написал:

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Кто бы написал «А вы, мои друзья последнего призыва...» или «Постучи кулачком — я открою...» или вообще встретил «Ветер Войны» — еще раз — как поэта не как столькие другие, все именуемые этим именем? Кто бы «Реквием» прорыдал, свою жизнь, свою муку ни от чьей жизни, столь же мучимой, не отделяя? «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях». Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была «там, где мой народ, к несчастью, был». Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами, теми, кто, потеряв Россию, людьми остались, в России или не в России; поставлен не где-нибудь,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громычание черных марушь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжала в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что два месяца, в Петербурге, лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи, скромный, небольшой, в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышень; два месяца лежал, и не решился я ничего туда вписать; так ей и вернул.

Вижу ее теперь, то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка; то высокую, в белом, при

свете люстр, сверканье хрусталей. И когда в белом, словно венчик чудится мне над ней. Не венчальный, не царский... Верно, из лавров сплетенный? Нет, — прозрачней, светлее: едва ли не мученический венец.

Н. СТРУВЕ

На смерть Ахматовой

Что? Что? Уже?.. Не может быть! — Конечно!
И святочного неба бирюза,
И все кругом блаженно и безгрешно...

А. Ахматова. Трилистник Московский.
1961—1963

Каким было небо в Москве, когда Ахматова «навсегда покинула город», мы не знаем, но бирюзовым и запоздало святочным было оно у нас в Париже, когда разлеталась промелькнувшая накануне в вечерней газете весть о *ее смерти*. «Что? Что? Уже? Не может быть! — Конечно!» — повторял себе всякий, кто сколько-нибудь следил за литературной жизнью последних лет, но особенно тот, кому в Лондоне или в Париже всего несколько месяцев назад выпала нечаянная радость видеть, слышать Ахматову.

Смерть Ахматовой... Нужны не косноязычные слова, а державинский стих, чтобы передать трагическое величие этого события. Не только умолк «неповторимый голос», до последних дней вносивший в мир, вопреки «обреченному телу», тайную силу гармонии, с ним завершила свой круг и вся неповторимая русская культура, просуществовав от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой ровно полтора года лет. Конечно, были предтечи, будут и эпигоны, но такой, какой она была, цельной, великой в своей человечности, русской культуре уже не бывать.

Поэтическое возрождение Серебряного века имело разные источники (Соловьев, Тютчев, французская поэзия), но точка его завершения была одна: Пушкин. К Пушкину под конец потянулись далекие от него символисты, с Пушкина начали акмеисты, но ближе всех к Пушкину подошла Ахматова. Пушкин и Ахматова — первое и последнее кольцо замкнувшейся золотой цепи русской поэтической речи.

От Пушкина у Ахматовой высшее чувство меры, целомудрие слова, сжатость выражения. И — обостренная совесть. От До-

стоевского («А Омской каторжанин все понял и на всем поставил крест») психологическая осложненность и философский пафос. От Иннокентия Анненского («А тот, кого учителем считаю») утонченность современной чувствительности. Последняя великая представительница великой русской дворянской культуры, Ахматова в себя всю эту культуру вобрала и претворила в музыку.

Смерть Ахматовой... Завершение длинной, трагической жизни, прошедшей через каторжные десятилетия ломки века, травли, замалчивания, террора.

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула,
Мне подменили жизнь.

Для многих Ахматова оставалась поэтом «Четок» и «Белой стаи». Ее это огорчало, тяготило. «Прочтите нам, Анна Андреевна, что-нибудь из «Четок». «Зачем, — отвечала она, — это вы и сами можете прочесть, да я так все это не люблю». Зато с какой силой, с каким вдохновением читала она своим, ни на какой другой на свете не похожим, глубинным голосом поздние стихи. Совершенства, как всякий большой поэт, Ахматова достигла сразу, с первых стихов «Вечера», и как всякий большой поэт, она возрастала от совершенства к совершенству. «Тайны ремесла», «Поэма без героя», «Реквием», вся «Седьмая книга» — вот вершины ее позднего творчества. Сама Ахматова «лучшим», что она написала, считала «Полночные стихи», небольшой цикл волшебных стихов, написанных в 1963 году. А сколько еще неизданных, неслышанных стихов!

При всей ее трагичности нельзя не видеть и законченности в судьбе Ахматовой. Бурная слава в молодости, длинные годы унижения и страдания, а последние два-три года все растущее, уже не столько русское, сколько мировое признание*, две поездки за границу, приглашения, телеграммы: «прямо как пятьдесят лет назад».

И смерть в преклонном возрасте, но в полном расцвете творческих сил.

Смерть Ахматовой... А всего восемь месяцев назад — я сидел благоговейно перед ней, слушал ее живую речь, заслушивался ее чтением, и по мере того как она говорила, читала, комната наполнялась таинственной, божественной гармонией...

* Только жалкая трусливость и подлая расчетливость помешали Шведской Академии присудить Ахматовой высшую награду.

И сколько силы жизни было в ней! Какой ясный и твердый ум!
Какая непреклонная, светлая совесть! Сколько простоты...
И прежде всего и больше всего, какая волшебная музыка души
и чувств!

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей,
Я не знаю, который год,
Ставший сказкой из страшной были,
Ставший горстью лагерной пыли,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам девки безносой
Суждено охранять его...
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо? —
Звуки голоса своего.
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Целых десять лет ходила
Под наганом.
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела!

«Ну скажите же что-нибудь», — обратилась ко мне Анна Андреевна, прочитав эту, еще не изданную строфу из последней части «Поэмы без героя».

Но что можно сказать перед страданием, претворенным в гармонию? Когда «все кругом блаженно и безгрешно»...

М. БУСИН

Анна Ахматова. Человек и поэт

У женской нежности завидно много сил.

Иннокентий Анненский

I

В лице Анны Ахматовой Россия потеряла не только самого знаменитого среди всех своих современных поэтов, слава которого вышла далеко за пределы нашей родины, но и Совершеннейшее олицетворение своих лучших душевных сил.

В ней воплотились высокие качества и добродетели, издавна отличавшие русскую женщину. Но и в России немного было женщин, соединивших в одном лице, в такой высокой степени непреклонную силу духа с даром скупого, но веского слова, стойкость в несчастьи и одиночестве с отзывчивостью к чужому горю, а главное — мужество, которому могли бы позавидовать многие мужчины.

Ахматова — последнее звено в цепи, начало которой положили боярыня Морозова и княжна Наталья Долгорукая. Самопожертвование и благородство, широта взглядов и неутомимая деятельность этих женщин — одна из тех подспудных, мало заметных на поверхности, но все собою определяющих сил, без которых возникновение великой России из отсталой Московии за менее чем триста лет было бы невысказано.

Поток этот не прекратился и вплоть до наших дней. Будущая свободная Россия не забудет ни хранительницу высоких культурных традиций кн. Е. Г. Волконскую, ни вдохновительниц русского Ренессанса и творческого русского изгнания Н. А. Тургеневу и Е. Ю. Рапп, ни отважившуюся стрелять в Ленина Дору Каплан, ни основоположницу НТС'а кн. Е. И. Ширинскую-Шихматову.

Высочайшим и ценнейшим украшением этого исключительного ряда была ныне покойная Анна Ахматова.

Вся русская литература XIX века от пушкинской Татьяны, через тургеневских девушек до «русских женщин» Некрасова, окончательно окрестивших это замечательное, не имеющее себе равного в мире явление, полна возвышающих душу женских образов.

Созданная воображением Пушкина Татьяна Ларина — один из немногих в истории литературы вымыслов, которые со временем оказываются реальнее не только иных взаправду живых людей, но даже гранитных скал и мраморных твердынь. Именно она — тот «положительный герой», которого большевики безуспешно пытаются создать вот уже скоро 50 лет.

Она — реальность мифическая. В современной философской терминологии это означает, что она — облик собирательный, как бы негатив фотографии, с которого можно сделать неограниченное количество снимков; но который сам — иноприроден.

Пушкин уловил существующую в рассеянном виде на необъятных просторах России жизненную реальность — одну из великих драгоценностей русской жизни и как бы ее сосредоточил в одном незабываемом облике.

Как-то трудно, особенно в такую пору, как сейчас, говорить об Ахматовой как о поэте; как об одном, пусть и из значительных русских поэтов нашего времени. Она была голосом, рупором всей России. Все страдания, но и все упования стонающего под коммунистическим игом двухсотмиллионного народа, воплотились в спокойном, негромком, но алмазно-твердом голосе Ахматовой, настолько впитавшей в себя чувства своего народа, что у нее почти что не заметно индивидуальной нотки.

Сила поэзии Ахматовой — в этой сверхличности ее голоса, в преодолении своего «я», всего личного, частного, всего узко своего, в том, что она сумела отождествиться с Россией — нет, с тем, что в России есть самого прекрасного и высокого, и держать речь за нее перед миром, перед историей, перед Богом.

Ахматова — поэт народный. Именно она, а не кто бы то ни было из подхалимов, которым антинародная власть своевольно жалуется это звание. Именно она чутко отзывалась на все движения народного сердца. Одна из весьма немногих, она сумела не осквернить своего пера гнусным именем Сталина. Она же в своем, ныне прогремевшем на весь мир цикле «Реквием» заявила во всеуслышание о том, что весь народ на самом деле терпит, но о чем власть молчит:

Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.

Более народного поэта, чем Ахматова, не было, нет и быть не может.

И эта ее никем не оспоримая народность не только не совместима с видами кремлевской деспотии, но и вопиюще ей противостоит. Россия Ахматовой и партийный СССР — две непримиримые, не сводимые ни к какому знаменателю величины, каждая из которых может только или победить другую, или погибнуть.

II

Ахматова начала с субъективнейшей женской лирики во всей русской литературе. настолько субъективной, что ее первый муж, Гумилев, сомневался, сможет ли такая поэзия заинтересовать посторонних, т. е. дойти до читателя.

Но самое крайне личное оказалось и самым всеобщим. Ахматовой достался огромный успех у самой широкой публики, и ее стихи сразу же прославили ее на всю Россию.

Перечитывая первый том как и всегда образцового издания ее сочинений Г. Струве и Б. Филиппова, замечаешь, что эта твердо за ней установившаяся репутация поэта специфически женских, интимных переживаний — преувеличена.

В свете того, что незаметно накопилось за все истекшие годы, любовная лирика Ахматовой отзывается только вступлением к иному, более значительному содержанию, к оставленному ею завету для всего русского народа.

Но и среди этих ранних пьес имеются неоспоримые шедевры. Одни из них, как «Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью...» или «Лучше б мне частушки задорно выкликать...», — на устах и в памяти всех грамотных русских людей. Несмотря на такое распространение и на повторение их всеми бесчисленное количество раз, они все-таки не стираются и продолжают удовлетворять и самых взыскательных знатоков.

Другие, как «Бесшумно ходили по дому...» (истинно достойное самой Эмили Дикинсон!) или «По неделе ни слова ни с кем не скажу...» — известные больше специалистам, — несколько не уступают первым.

Уже начиная с этих ранних стихотворений, Ахматова выявила недюжинное своеобразие в изображении видимого мира. Ее внимание направлено на самые скромные и неприглядные его уголки и подробности, до тех пор не замеченные другими поэтами: «тумбы белеют четко в изумрудном дерне», «высоко в небе облако серело, как беличья распластанная шкурка», «ива на небе пустом распластала веер сквозной», «на кустах зацветает крыжовник и везут кирпичи за оградой», «затянулся ржавой тиной пруд широкий, обмелел», «иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен», «шуршат в овраге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной», «как на древнем выцветшем холсте, стынет небо тускло-голубое», «вижу выцветший флаг над таможней и над городом желтую муть», «у грядок груды овощей лежат, пестры, на черноземе. Еще струится холодок, но с парников снята рогожа», «почернел, искривился бревенчатый мост, и стоят лопухи в человеческий рост», «а в глубине четвертого двора, под деревом плясала детвора в восторге от шарманки одноногой», «и светится месяца тусклый осколок как старый зазубренный нож», или:

Набок сбившийся куполок,
Грай вороний и вопль паровоза,

И как будто отбывшая срок
Ковылявшая в поле берега...

Я нарочно привел эти примеры и мог бы еще привести немало других для того, чтобы указать на совпадение крайнего ахматовского субъективизма, новизны ее личного поэтического космоса с той глубокой сутью русского пейзажа, с его неподражаемой неприглядностью, которой «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный» из знаменитого тютчевского стихотворения, но которая волнует всякого русского до глубины души, часто равнодушного к именитейшим достопримечательностям хваленых Италии или Швейцарии, величественная живописность которых мертва рядом с полными душевности и настроения, невзрачными на первый взгляд чертами русской природы.

Но волею судеб обстоятельства сложились иначе, и Ахматовой не было дано разработать свое личное видение мира, столь непривычное и своеобразное с первых же ее шагов.

Разразившиеся тем временем грозные события сделали ее одним из немногих подлинно значительных политических поэтов России.

III

Политическая поэзия, хотя вообще и существует, несмотря на обратное мнение некоторых критиков, остается чрезвычайно трудным жанром. Помимо мастерства, необходимого для любой поэтической деятельности, она требует еще и иных, не менее редко встречающихся душевных качеств. Одержимости групповой идеей, как бы она ни была сильна, обычно оказывается недостаточно. Необходимо сохранение личного к ней отношения самого поэта, умение овладеть в себе групповым переживанием и сделать его частью своего «я», возвыситься над ним, его не теряя, претворить его в событие и своей личной жизни.

Поэтому настоящая политическая поэзия, которая бы, оставаясь политической, и поэзией быть не перестала, так редко увенчивается успехом. Но Вергилий, Лукан, Данте в «Божественной комедии», Камозэнс в «Лузиадах» были, по сути дела, политическими поэтами. Вообще, удачная эпопея возможна только на основе политического переживания. Поэтому эпопея так редко удается в эпохи обострения индивидуального бытия, в ущерб групповому.

Но политическими поэтами были также, например, Эсхил или Андрэ Шенье, писавший о французской революции из себя, а не от имени какой-либо партии или иной организации.

В России первые две главы ломоносовского «Петра Великого» были несомненной удачей, и только смерть помешала ему закончить русскую эпопею, для создания которой с тех пор больше не повторились благоприятные психологические предпосылки.

При всей своей гениальности Пушкин не сумел пойти дальше отдельных ее эпизодов, как «Полтава» или «Медный всадник», или еще более коротких пьес, как «К вельможе» или «Полководец».

Кроме того, у нас имеется замечательная политическая лирика, совершенно лишенная эпического костяка, как, например, «Водопад» или «На взятие Измаила» Державина и «На поле Куликовом» Блока.

Одним только большевикам с политической поэзией не повезло. Потому что она возможна исключительно в условиях свободы. Тем не менее событие таких размеров, как революция, не могло не найти отклика и в поэзии. Только отклик этот в подавляющем большинстве случаев оказался для революции не благоприятным, даже враждебным, если не считать самых ранних, главным образом, еще дооктябрьских восторгов.

За весь советский период в России выдвинулось только четыре политических поэта, достойных этого имени: Хлебников, Клюев, Мандельштам и Ахматова. Их оказалось так мало в первую очередь потому, что в эти лихие годы политическая поэзия требовала не только дарования, но и недюжинного мужества, которое нашлось далеко не у всех талантливых поэтов.

И действительно, всем им четверем пришлось немало претерпеть. Уже в самом начале революции (в 1922 г.) Хлебников пришелся не ко двору и погиб в ужасающих условиях от голода и болезни 36-ти лет от роду. В числе многого другого, в его лице Россия потеряла единственного поэта, способного создать российскую эпопею эпохи революции. Но он успел оставить только отдельные, хотя и блестящие эпизоды несомненно назревавшего в его душе грандиозного целого: «Ночь перед советами», «Прачка», «Настоящее» и особенно незабываемый «Ночной обыск».

Клюев и Мандельштам до дна испили чашу ежовско-сталинских концлагерей, откуда им не дано было вернуться живыми. Одна только Ахматова, женщина, несмотря на все перенесенные ею жесточайшие гонения и испытания, смерть обоих мужей, арест и ссылку сына и хамские издевательства малограмотного грубияна Жданова, пережила Сталина и в последние годы перед своей кончиной не могла не почувствовать несущегося

над Россией веяния свободы, из будущего, для пробуждения которого она своей непреклонной стойкостью сделала больше, чем кто бы то ни было другой.

Нам, конечно, неизвестно поэтическое наследие Ахматовой во всем его объеме. Мелкое сито партийной цензуры пропустило только жалкие его крохи. Кое-что дошло до нас и обходными путями. Но многое, несомненно, увы, утеряно навсегда.

То, что, может быть, удастся сохранить от партийного вандализма друзьям покойной, станет нам полностью известным только тогда, когда взойдут брошенные ею семена будущей свободной и благородной России и рассыпется в прах коммунистическая деспотия.

После скорбного негодования философско-исторических взлетов и неподдельного ужаса Мандельштама, после язвительной остроты и ясновидческих прозрений Клюева политическая поэзия Ахматовой поражает своей немногословной сдержанностью и религиозной проникновенностью.

Особенно хороши ее стихотворения, еще не непосредственно политические, предваряющие атмосферу грядущих событий, полные зловещих предчувствий, но и внутренней готовности принять неизбежное. Эти нотки стали появляться в ее стихах уже начиная с 1912 года:

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу.
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу...

Затем следуют: «Думали: нищие мы, нету у нас ничего...», «И целый день своих пугаясь стонов...», «Земной отрадой сердца не томи...» — только высоким самообладанием автора отделенные от отчаяния. Или же напряженно литургическое, напоминающее Иннокентия Анненского:

Плотно сомкнуты губы сухие.
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На душистой сапфирной парче.

У Клюева политическая полемика и религиозное видение довольно строго разграничены. У Ахматовой — невозможно провести черту между политическим высказыванием и молитвой — одно незаметно переходит в другое и определяет его собою. Политика принимает очертания личного переживания. И при этом «я» неуловимо переплавляется в «мы», а жалоба — в молитву.

Роль глашатая всенародного горя Ахматова восприняла как порученную ей свыше миссию: уже при начале войны 1914 года она впервые отметила, что «ей (ее душе) — опустевшей — приказал Всевышний стать страшной книгой грозových вестей».

И миссия эта оказалась пророческой. Тогда же, в июле 1914 г., она предвещала:

Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затмения небесных светил.

Но в то же самое время она предвидела не только содеянное зло, но и грядущее освобождение:

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат.

В этом кроется одна из причин ее решения, вместо того чтобы уйти в изгнание, разделить судьбу своего народа:

Нет, и не под чуждым небосводом.
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Но было нечто и еще более веское:

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Уже в 1921 году, с ясновидческой зоркостью, она заговорила о пленении недалекого будущего, о котором тогда мало кто успел подумать:

А в пещере у дракона
Нет пощады, нет закона,
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.

Почувяла она и замысел Господень касательно ее души:

И дракон крылатый мучит,
Он меня смиренью учит,
Чтоб забыла дерзкий смех,
Чтобы стала лучше всех.

Строки эти удивительно перекликаются с другими, написанными в 1917 году, когда «дух суровый византийства» покидал Церковь, а следовательно, и души людей.

Для Ахматовой политические бедствия — испытание свыше, тяжкий млат, кующий булат сильных духом.

Старый мир погиб безвозвратно, потому что он «к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог». Но... кто эта таинственная «белая», которая «дома крестами метит»? Крестным ли знамением каких-то будущих свершений, или пометкой для созываемых ею воронов?

Конечно, когда советская власть утвердилась, такого рода пророческие прозрения перестали попадать в печать. Хотя это вовсе не значит, что они перестали у Ахматовой возникать и принимать форму поэзии.

То сравнительно немногое, что нам известно из ее стихов, написанных под советским игом, отличается сдержанностью и редким благородством тона и стиля:

И нарцисс в хрустале у тебя на столе,
И сигары синий дымок,
И то зеркало, где, как в чистой воде,
Ты сейчас отразиться мог.

Страшнейшие переживания с необычайной силой передаются не только немногими простыми словами, но и без всякого нагромождения ужасов, становящегося ненужным. Ее муза:

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы “Ада”?» Отвечает: «Я».

И это все. Но любое добавочное слово было бы излишним. Мы поняли все. И это свидетельство о пережитой Россией трагедии сильнее каких угодно воплей и восклицаний. Сильнее даже любого собрания фактических документальных данных.

Но и такого рода свидетельства становятся в поздней поэзии Ахматовой все более редкими. Теперь ее главная тема (в пределах доступного нам материала) — воспоминания о Петербурге, которыми навеяна и ее наилучшая, самая обширная поэма «Девятьсот тринадцатый год», еще непонятная нам до конца, из-за многочисленных личных, а может быть, и иных намеков, а потому еще нуждающаяся в расшифровке. Лучшие из этих стихов ставят ее имя в один ряд с величайшими из русских поэтов, зачарованных обликом императорской столицы, от Пушкина до Блока и Мандельштама:

А не ставший моей могилой,
 Ты, гранитный, крошечный, милый,
 Побледнел, помертвел, затих.
 Разлучение наше мнимо:
 Я с тобою неразлучима,
 Тень моя на стенах твоих,
 Отраженье мое в каналах,
 Звук шагов в Эрмитажных залах
 Где со мной мой друг бродил,
 И на старом Волковом поле,
 Где могу я рыдать на воле
 Над безмолвьем братских могил.

К этому времени сильно возрос в ее творчестве мотив смерти:

Вспыхнул над молом первый маяк,
 Других маяков предтеча, —
 Заплакал и шапку снял моряк,
 Что плавал в набитых смертью морях
 Вдоль смерти и смерти навстречу.

А с ним сплетаются, при предельной строгости вкуса, реминисценции античной мифологии:

Не мудрено, что не веселым звоном
 Звучит порой мой непокорный стих
 И что грущу. Уже за Флегетоном
 Три четверти читателей моих.

Или даже, с еще большей трагической силой:

Пусты теперь Дионисовы чащи.
 Заплаканы взоры любви.
 Это проходят над городом нашим
 Страшные сестры твои.

Отсюда же и ее гномическое глубокомыслие, в котором слышится нотка примирения, но не покорности судьбе, не побежденного, а умудренного опытом долгой жизни, понявшего тщету всего земного человека:

Наше священное ремесло
 Существует тысячи лет...
 С ним и без света миру светло.
 Но еще ни один не сказал поэт,
 Что мудрости нет, и старости нет,
 А может, и смерти нет.

В этих ее поздних, предельно коротких пьесах длиной от двух до, самое большее, шести строк она достигает вершины

зрелости и совершенства, равные которым можно найти только у бессмертных классиков античного мира:

Ржавеет золото, и истлевают сталь,
Крошится мрамор, к смерти все готово...
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.

IV

Неопровержимым доказательством русскости Ахматовой, не совместимой ни с какой советщиной, остается ее язык, чистый, прозрачный, отточенный. Сколько на нее ни оказывали давления — по некоторым сведениям, дело доходило даже до шантажа жизнью ее арестованного сына, — власти не удалось вынудить ее ни на одну-единственную строчку в желаемом ею, властию, духе.

Ахматова осталась непреклонной.

Власть могла не допускать к напечатанию ее стихи. Могла — и, наверно, этой возможностью пользовалась — «изымать» и уничтожать ее рукописи и тем самым препятствовать словам Ахматовой доходить до их назначения — т. е. до ведома русского народа.

Поэтому можно считать, что какая-то часть сказанной ею правды осталась нам неизвестной, до поры до времени, как бы и не сказанной вовсе.

Но никакие угрозы не смогли заставить ее написать хоть одно слово лжи, того, что она не думала на самом деле, противной ее совести партийной кривды, ничего не соответствующего ее внутреннему убеждению.

Если бы такие слова были ею произнесены, они несомненно стали бы самыми знаменитыми из всего ею написанного — благодаря пропагандной монополии, которою располагает партия.

Но таких слов добыть у Ахматовой никакими силами и никакими ухищрениями не удалось. Их нет.

И главное — что это касается не только мыслей или фактов, но и в первую очередь слова.

Страшнейшее орудие лжи — не искажение фактов — не могущее, рано или поздно, не броситься в глаза и тем самым скомпрометировать ее источник. Хуже всего — те, еле заметные, трудноуловимые отклонения слова от его настоящего смысла, те словесные нюансы, замена одного слова якобы равнозначным ему другим, отличающимся от первого незаметным на первый взгляд оттенком, и тому подобные ухищрения, в кото-

рых прислужники советской власти давно прослыли непревзойденными мастерами.

Ложь начинается не с дела, а со слова, с тона голоса, с которым слово произносится, с как бы нечаянной перестановки запятых. А стиль неизбежно выдает лжеца, как отпечатки пальцев воришку.

В нашу эпоху эта словесная недобросовестность носит название социалистического реализма, суть которого заключается в словесной и стилистической фальши.

Всякий подсоветский текст (за исключением самых больших мастеров и самых смелых борцов за свободу) носит на себе каинову печать или хамского жаргона, например Безыменского или блудливого Демьяна, или же пошловатого (по сути дела, тоже хамского) официального академизма, молодцеватого, насквозь фальшивого оптимизма всяких там Сурковых.

Всего этого Ахматовой удалось избежать полностью. Ее язык — чисто ренессансный, настолько свободный от какого бы то ни было партийного привкуса, что будущие историки русской литературы даже смогут сомневаться, жила ли она на самом деле в СССР. И в этом — немалый ее подвиг — в этой незапятнанной чистоте языка, пронесенного ею чрез самые черные годы российской истории:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Хотя советский режим еще и держится, мне думается, что о русском языке сегодня уже можно сказать как о счастливо избегнувшем смертельной угрозы больном: «он уже вне опасности».

Процесс выздоровления может еще и затянуться. Бывают иной раз и рецидивы. Но опасность для русского языка, а следовательно и для русского народа, уже миновала.

V

Напрасно враги России шамкают какую-то, ни на чем не основанную белиберду, будто Ахматова сдалась на милость противнику, что она чуть ли не стала сообщницей палачей ее близких, ее творчества и всего русского народа.

Это — даже не клевета. Это — бессильная маниловщина, принимающая свои желания за действительность.

Сейчас, в пору неутешного всенародного горя, наш долг — стать достойными ее героической непреклонности.

Да, партии так и не удалось сломить ее волю, ее прямоту, ее непримиримость.

Борьба за свободу России сейчас только начинается. Но память о покойной и ее живой пример — непобедимы.

И на обломках коммунистического своеволия потомки напишут имя Анны Ахматовой.

С. ЛЕСНЕВСКИЙ

Тростник и время

«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» — вот достойный эпиграф к «Бегу времени» — самому полному собранию стихов и поэм Анны Андреевны Ахматовой, эпиграф к ее жизни, которая — теперь уже вся — перед нами. Вторая Тютчеву, Ахматова писала в автобиографии: «Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». Она поистине жила «в дни великого совета, где высшей страсти отданы места...» Тем не менее трагический ее путь не был напрасным, и Ахматова, как сказала она сама, «щедро взыскала дивной судьбою...».

Да, родиться в 1889 году, в незапамятные времена, описанные у Толстого и Чехова,

— двадцати лет от роду изумить современников необычайным лирическим даром («Мы недоумевали, удивлялись, возторгались, спорили и, наконец, стали гордиться» — так рассказывает о признании Ахматовой Б. Эйхенбаум),

— быть свидетелем того, как «приближался не календарный — Настоящий Двадцатый Век», но лишь глухо, потаенно слышать его приближение, томиться роковым предчувствием, что «до смешного близка развязка» (эти слова будут сказаны лишь через полвека!),

— бережно внимать тончайшим душевным движениям, которые в грозе и буре эпохи запросто можно было и не заметить, лелеять и беречь нюансы от неизбежного землетрясения, чтобы печально-надменно отстраниться от гула времени,

— отвернуться, да, отвернуться в тоске и непонимании от грозного лика Революции, но услышать все-таки кровный,

жгучий глас Родины, не отпустившей свою певчую дочь за рубеж и спасшей ее от страшного несчастья вековать на чужбине,

— потом под отеческим небом пережить в себе годы и годы нового, непривычного бытия — сохранить, приумножить, и высушить от слез, и закалить, и еще более прояснить песенный дар, слить его с жизнью отечества, чтобы в назначенный час исполнить долг Русского Поэта, воззвав к праведной борьбе,

— да, это уже 1941 год, а в феврале 1942 года создать шедевр патриотической лирики «Мужество» («Помню, как в суровые дни 1942 года, рассказывая в Колонном зале Дома союзов о советской военной лирике, читал я, под аккомпанемент сирен воздушной тревоги, это стихотворение», — вспоминает Алексей Сурков),

— восславить всенародную Победу, а вскоре испытать на себе хулу, но не сдаться, не сломиться (стихи сильнее силы!), работать, работать, чтобы в конце жизни обрести новое признание и, произнеся новые, неслыханные слова, покинуть нас в начале весны 1966 года...

Как не вспомнить тут еще раз утверждение Александра Блока, что у поэта нет карьеры, у поэта есть судьба...

Ранние стихи Ахматовой — словно рисунок тонким пером. Немногими словами, как пересказ пьесы, они рисуют ситуацию. Это ряд необычайно сжатых — до лирической миниатюры — психологических новелл. Своего рода либретто, произносимое, именно произносимое — выкликаемое, вышепываемое или почти безмолвное.

При этом простота, даже незатейливость, даже, казалось бы, подчеркнутая незначительность сообщения — как будто автор, ни о ком не думая, ведет для себя дневник или слагает песенку, — весь этот интимный прозаизм контрастирует с мрачной, страшноватой двузначностью реплик, деталей, мимолетных наблюдений.

Общий колорит ранней лирики, какой бы частной она порой ни была, — трагический, вернее, предтрагический. «Вечер» — назвала Ахматова первую книгу стихов об утре своей жизни.

В стихотворении 1917 года, в котором Ахматова подтверждает свою верность России, явственно слышится уже наметившаяся ранее интонация — не интимно-разговорная, а клятвенная. «Витийства грозный дар» открылся в поэте при виде новых, нестерпимо-алых зорь. Теперь она все чаще говорит, словно вещает, но речь ее ясней, уверенней и строже.

Память становится одним из главных героев поэзии Ахматовой. Она то друг, то враг — память. «Надо память до конца

убить», — решает поэт. Но как ни тяжка и ни зла память, она становится источником многих гуманнейших стихов Ахматовой. А в чем же добрая сила этих, порой жестоких, стихов? — В привязанности, в том, что поэт отдает и клянется отдавать всегда. Нет ничего человечнее потребности отдавать. И нет ничего страшнее, бесчеловечнее забытья, потери памяти, хотя это и облегчает существование...

Вариаций этого мотива у поздней Ахматовой множество, но они связаны с растущей, возродившейся — вновь и полностью — привязанностью к дню настоящему. Ведь «невозможно жить без солнца телу и душе без песни». И снова — отныне и навсегда — любимо то, что казалось «промотанным наследством». Любим и благословен город, тыщекрат слышавший признания в любви поэта. Петербург, Петроград, Ленинград. «Город, горькой любовью любимый» (1914); «Тот город, мной любимый с детства» (1929); «Ты, гранитный, крошечный, милый» (война). Любима русская речь — родная, единственная, как твое бытие.

И поэт заговорил голосом всего народа: «Мы знаем, что ныне лежит на весах...» В военных стихах Ахматовой интимное звучит, как с веча, а вечевой колокол умеет быть доверительным.

Как это Ахматова умеет быть одновременно библейски важной и нежной? Чеканной надписью на памятнике и тем не менее зыбким зеркалом вод? Каким образом ее духовный аристократизм не мешает прорваться простонародно-бабьему песенному «голошению»?..

У поэта свои пути к истории, гражданственности, философии. Человек, который всю жизнь в ближайших отношениях с родным языком, не может не быть патриотом. Так клятва сбегать русское слово стала антифашистским произведением.

Мотив жестокой памяти возрос у Ахматовой до широких исторических раздумий. О, тут кругозор поэта любовной страсти возвысился до понимания исторических страстей. Кстати, эти страсти не столь далеки друг от друга. Миниатюрные ад и рай лирической новеллы грандиозны в масштабах человеческого сердца, а спроецированные в историю, они вырастают до трагического обобщения: «Двадцать четвертую драму Шекспира пишет время бесстрастной рукой...»

Мне кажется, что поклонники только ранних стихов Ахматовой сильно обедняют себя; Ахматова советской поры и особенно последних лет — художник той высшей зрелости, которая «есть в опыте больших поэтов...»

Главное объяснение того, что произошло с Ахматовой, — в ее стихах о поэзии, о творчестве. Собственно говоря, именно оно, неистребимое творчество, изнутри вело поэта нелегкими дорогами к человеку, времени, отечеству. А люди, время, отечество звали к творчеству. «Чтоб быть современнику ясным, весь настежь распахнут поэт». Оттого поэт и радуется и страдает: он слишком распахнут, больше других людей. Но иначе не было бы поэзии.

Наиболее лаконичные портреты Ахматовой таковы: летящая линия Модильяни — этот рисунок, помещенный на обложке «Бега времени», можно увидеть в Ленинграде, в квартире, где жила Ахматова; и — слова Бориса Пастернака из его рецензии на сборник стихов Ахматовой. Вот эти слова: «Две кровопролитных войны, их следы чуть ли не на каждой странице, а между ними известный силуэт с гордо занесенной головой...»

Но «бег времени» нарисовал самый точный портрет поэта.

«Для старой, изнуренной болезнью женщины, Анны Андреевны Ахматовой, “бег времени” окончен, — пишет А. Твардовский в статье “Достоинство таланта”. — Для ее чистой и внятной, живо откликающейся в людских сердцах поэзии — долгий путь вместе с “бегом времени”».

Н. РЫЛЕНКОВ

Вторая жизнь поэта

Творческий путь Анны Ахматовой являет нам редчайший в истории мировой литературы пример неукротимой воли поэта к самовозрождению. Критика не раз заживо хоронила ее, как явление, давно отошедшее в прошлое, а она вдруг предстала перед новыми поколениями как их современница. Ее удивительная жизнестойкость заставляла нас забывать о ее возрасте. Иногда нам начинало казаться, что, возрождаясь, она как бы начинает жизнь сначала и что так будет без конца. И когда Анна Ахматова умерла, мы с трудом поверили в это. Провожая ее в последний путь, мы, преодолевая боль невозвратной утраты, с небывалой остротой ощутили, как дорога она всем, кому не безразличны судьбы русской, да и не только русской культуры, кто верит в очистительную силу слова, слышит в нем голос совести.

На поэзии Ахматовой лежит печать неповторимой, чисто русской мужественной женственности.

Критика часто называла ее камерной. Но так поэзия Анны Ахматовой может быть названа только в том единственном

смысле слова, что она говорила с читателями доверительно. Но ведь именно за это ее и любили читатели, хорошо знавшие, что от нее они не услышат ни одного фальшивого слова. О чем бы она ни говорила — о радостях ли и горестях любви, о трудном ли и святом своем ремесле, о бессмертных творениях искусства или скромных полевых просторах, — она говорила только то, чего не могла не сказать, что выношено в сердце и оплачено дорогой ценой многих бессонниц.

На долю Ахматовой выпала трудная, но в то же время и завидная участь. Она с полным правом могла бы отнести к себе знаменитые тютчевские строки:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Начав свой путь в одной из декадентских, оторванных от большой народной жизни групп предреволюционной поры, она мужественно прошла через великие испытания суровой революционной эпохи и вышла на большую дорогу гражданской поэзии в пушкинском смысле этих слов.

Среди ранних произведений Анны Ахматовой есть одно весьма примечательное стихотворение, дающее ключ к пониманию всего ее дальнейшего пути. Вот это стихотворение, помеченное 1913 годом:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти господя моля,
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца.
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы.
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

Этих осуждающих взоров Анна Ахматова не забывала никогда, о чем бы она ни писала. Именно они помогли ей в самые трудные дни не заблудиться, не потерять родины. И еще — кровная связь с лучшими, пушкинскими традициями русской поэзии. Теми традициями, которые можно определить одним словом: совесть!

Одни глядятся в ласковые взоры.
Другие пьют до солнечных лучей,

А я всю ночь воду переговоры
С неукротимой совестью моей.

Неукротимая совесть! Как это характерно для поэзии Анны Ахматовой от первых до последних книг, для ее любовной и гражданской лирики, если следовать общепринятому делению. Совесть ее поэзии неразрывно связана с чувством родной земли, с глубоким сознанием своей ответственности перед родиной и народом, перед великими завоеваниями человеческой культуры. Именно здесь истоки высокого гуманизма ее любовных стихов, свободных от всякого наигрыша, всегда предельно искренних и предельно благородных, написанных кровью сердца:

Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

Здесь же и корни ее гражданственности, с особой силой проявившейся накануне и в дни Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. Уже в сороковом году Ахматова создала потрясающие стихи «Двадцать четвертая драма Шекспира» и «Когда погребают эпоху» — о трагедии Западной Европы, растоптанной фашистским сапогом. Когда же пробил час испытаний и для России, ее стихи зазвучали как клятва, клятва верности и мужества:

И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.

Патриотические стихи Анны Ахматовой могли показаться неожиданными только для тех, кто подходил к ее творчеству с предвзятыми вульгарно-социологическими или иными мерками.

В послевоенные годы она, уже прожившая долгую и сложную жизнь, создала наиболее зрелые свои книги, которые озаряют новым светом все ее творчество. Для последних ее стихов и лирических поэм характерно углубленное, я бы сказал, историческое осмысление пройденного пути.

До самых последних дней поэзия Анны Ахматовой набирала высоту. И в этом была одна из удивительных особенностей ее нестаряющегося таланта, который все время рос, мужал, обогащался, ничего не теряя из того, что было приобретено в молодости. С годами она становилась все более умудренной пережитым, но отнюдь не становилась менее непосредственной. Душа

ее оставалась до конца открытой всем радостям и горестям жизни. Каждое новое стихотворение Ахматовой радовало любителей поэзии не только своей глубиной, но и свежестью.

Сюда принесла я блаженную память
 Последней невестречи с тобой —
 Холодное, чистое, легкое пламя
 Победы моей над судьбой.

Победа над судьбой досталась Ахматовой не легко, но зато это подлинная победа большого и честного таланта. Такая победа всегда становится общей победой искусства над косностью и предрассудками. Художнику она приносит вторую молодость. Вот почему люди разных поколений считали Анну Ахматову своей современницей. Такой же современницей она останется и для будущих поколений. Она всегда будет пленять читателей высоким благородством своей поэзии, потрясать своей неукротимой совестью.

Прот. А. ШМЕМАН

Анна Ахматова *

Я не специалист по русской поэзии, еще менее — по поэзии Анны Ахматовой. И если я выступаю сегодня здесь, то, конечно, не для того, чтобы прочесть о ней обстоятельный литературный доклад: это сделают те, кто к этому призван; но я выступаю и не для того, чтобы «пристегнуть» Анну Ахматову к определенному мировоззрению или идеологии, сделать из нее иллюстрацию и союзницу моих взглядов, моей веры, моего миропонимания. Наконец, я говорю даже не для того, чтобы в лице скончавшейся Ахматовой еще раз почтить великую русскую культуру, ее породившую, и тем самым «отдать ей дань».

Поэты принадлежат всем, кто любит поэзию и для кого стихи не развлечение, не часть «культурной жизни» и не приятное дополнение к реальной, деловой жизни и серьезным убеждениям, а что-то совершенно единственное по своему значению. Всякая подлинная поэзия — это какой-то совсем особый подарок людям, по внешности — самый ненужный, а по настоящему — один из самых насущных. Символисты мечтали

* Слово на собрании памяти Анны Ахматовой в Св. Серафимовском фонде в Нью-Йорке 13 марта 1966 года // Новый журнал. 1966. № 83.

когда-то сделать поэзию «теургией», таинством претворения и преображения жизни. Их ошибка была в непонимании того, что этого делать не нужно, что поэзия уже сама по себе, сама в себе имеет эту силу, и имеет она эту чудотворную силу только в ту меру, в какую она — только поэзия.

Но если подарок поэзии дан всем, то принимается и воспринимается он каждым особо, лично, и потому каждый — специалист и неспециалист — может свидетельствовать о том, что он получил в этом таинственном даре. Эти несколько слов — мое личное свидетельство, попытка описать подарок, полученный мной, и претворяющий мою печаль об уходе Ахматовой в чувство светлой печали и благодарности.

Эти размышления касаются — конечно, очень схематически, очень отрывочно — трех тем ахматовской поэзии: любви, России и веры.

Быстрая и широкая популярность Ахматовой по-первоначалу могла казаться несколько подозрительной. В мире, насыщенном сложной и высокой поэзией русского «серебряного века», вдруг прозвучало не только что-то очень простое, но в своей простоте как будто снижавшее высокий, почти мистический тон, усвоенный русской поэзией, начиная с Владимира Соловьева и пророческих «зорь» раннего символизма. Женская лирика о любви и влюбленности, об изменах и верности, о боли и радости, о встрече и разлуке. Таково вначале было отношение Гумилева к поэзии Ахматовой: «Вам нравится?» — говорил он. — «Очень рад. Моя жена и по канве отлично вышивает». Так казалось и многим другим. Но прав был, конечно, не Гумилев, а тайнозритель русской поэзии Вячеслав Иванов, когда, прослушав одно из первых — таких женских стихотворений, он сказал Ахматовой: «Поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии». Да, это действительно была простая земная любовь с ее радостями и горестями, с ее уединенностью в себе, с ее, казалось бы, бесчувственностью к «проблемам» и «вопросам».

Да, действительно, это женская лирика. Но, может быть, тогда не было так ясно, как стало ясно потом, что эта женская лирика о любви и почти только о любви, совершала нечто насущное в самой русской поэзии, очищая ее изнутри и указывая ей как раз тот путь, которого она всей своей мистической взволнованностью, всей своей болью искала.

Русский «серебряный век» незабываем и неповторим. Никогда — ни до, ни после — не было в России такой взволнованности сознания, такого напряжения исканий и чаяний, как

тогда, когда, по свидетельству очевидца, одна строка Блока значила больше, была насущнее, чем все содержание «толстых журналов». Свет этих незабываемых зорь навсегда останется в истории России. Но теперь, спустя столько лет — и каких лет! — мы не только можем, мы должны сказать, что была в этом серебряном веке и своя отравка, тот «тайный яд», о котором говорил Блок. Была великая правда вопрошаний и исканий и какая-то роковая двусмысленность в ответах и утверждениях. И ни в чем, быть может, двусмысленность эта не проявилась столь явственно, как именно в главной теме всякой поэзии: в теме любви. С «Трех разговоров» Владимира Соловьева вошло в русскую поэзию, в самую ткань поэтического опыта и творчества, странное и, надо прямо сказать, соблазнительное смешение мистики и эротизма. Не одухотворение любви верою и не воплощение веры в любви, а именно смешение «планов», в которых не одухотворялась плоть, но и не воплощался дух. Мы знаем, какой личной трагедией обернулось это смешение в жизни Блока, как «Стихи о прекрасной Даме» обернулись надрывом «Балаганчика» и каким-то каменным отчаянием «Страшного мира» с его ледяными метелями.

И вот простые женские, любовные стихи Ахматовой, такие, казалось бы, «незначительные» на фоне всех этих взлетов и крушений, в атмосфере этого мистического головокружения, на деле были возвратом к *правде* — той простой человеческой правде о грехе и раскаянии, о боли и радости, чистоте и падении, которая одна — потому что она правда — имеет в себе силу нравственного возрождения. Сама того не зная и не сознавая, пища стихи о простой и земной любви, Ахматова делала «доброе дело» — очищала и просвещала — и делала это действительно по-женски, просто и без самооглядки, без манифестов и теоретических обоснований, правдой всей своей души и совести. И потому, в конечном итоге, она имела право сказать, что творчество ее

Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

В Ахматовой «серебряный век» нашел свою последнюю правду: правду совести. И не случайно, конечно, совесть является единственным настоящим героем ее поздней и замечательной «Поэмы без героя»:

Это я — твоя старая совесть —
Разыскала сожженную повесть.

Это совесть приходит к ней в новогодний вечер и освещает правдой смутную и двусмысленную, как маскарад, давнюю петербургскую повесть всех этих запутанных и трагических жизней, всей этой эпохи, это совесть дает ей силу, с одной стороны,

Испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замалчивать давний грех,

а, с другой стороны, все, включая и сам грех, побеждает жалостью и верностью, небесной правдой великой земной любви. И потому от любви ее ранних стихов, той любви, из-за которой она «на правую руку надела перчатку с левой руки», — прямой путь к голой, страшной, как распятое тело, но уже действительно ничем не победимой любви «Реквиема».

Ахматова и Россия. Каждый русский поэт имеет свой образ России, каждый на своем творческом пути так или иначе, раньше или позже, но говорит о России, включает ее в свою поэзию. Пушкин был «певцом империи и свободы»; для Блока Россия стала последним воплощением Прекрасной Дамы, обещанием, судьбой, надеждой, что не сбылись в его жизни, Мессией грядущего просветленного мира. Ничего этого нет в поэзии Ахматовой, обращенной к России. Или, вернее сказать, поэзия ее как раз и не обращена к России как к «объекту» любви или носителю какой-то особой судьбы. Тут тоже можно говорить о женском отношении Ахматовой к России, которое воплощается в чувстве какой-то почти утробной от нее неотделимости. Ахматова несколько раз говорит о своем сознательном отказе от эмиграции, от ухода с родины. В первый год революции на голос, призывающий ее к такому уходу, она отвечает:

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не оскорбился скорбный дух.

И сорок лет спустя, в предисловии к «Реквиему», — совершенно так же:

Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Но — и в этом, мне кажется, вся суть ахматовского отношения к России — стихи эти совершенно свободны от какой бы то

ни было «идеологии». Идеологический подход к родине — это подход мужской, и таков был, по существу, всегда подход к ней в русской поэзии, причем под идеологией я разумею совсем не обязательно политическую идеологию, ибо возможна и оправдана идеология и художественная. И такой идеологический подход может не только оправдать, но сделать нравственно неизбежным и необходимым уход, ибо уход этот — *ради* родины, во имя ее — есть проявление верности ей.

Но в том-то все и дело, что для Ахматовой такого выбора не было, ибо она не «относится» к России, а есть как бы сама Россия, как мать не «относится» к семье, а есть сама семья. Отец и муж могут уйти из дома на время, *ради* семьи, чтобы издалека помогать ей. Но мать не может уйти, потому что без нее нет семьи, и нечему помогать. Вот такой матерью и женой, одной из миллионов таких матерей, которым *нельзя* уйти, и была Ахматова. И тут — проявление все той же ее женственности, женской любви, которая в каком-то смысле до конца пассивна, есть всецело самоотдача, но которая вместе с тем и есть сама сила, сама последняя суть и красота жизни, так что ради нее, по отношению к ней, для ее защиты и для служения ей и существуют все «идеологии».

У Ахматовой совсем нет стихотворений «патриотических». Даже в страшные годы войны, осады Ленинграда родина является ей всегда в образе матери и притом почти всегда страдающей, так сказать, «реальной» матери, матери «реальных» детей. Что такое победа, что ей сказать?

Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей —
Так мы долгожданной ответим.

Родина, Россия — это реальные люди, и реально в них, прежде всего, их страдание. И родина — это тоже живой, свой город, о котором столько писала, который так любила Ахматова, про который в разлуке писала:

Разлучение наше мнимо,
Я с тобою неразлучима.

И когда этот город страдает, про него можно сказать:

Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит.

Родина — это «пречистое тело земли»; родина — это родной язык, в котором бьется его жизнь. И потому, повторяю, связь

Ахматовой с Россией не «идеологическая», это не вера в ее миссию, не вдохновение ее славой, это всегда — простое биение сердца, жизнь вместе, самоочевидность нерасторжимого единства. И в этом единстве, в этом полном слиянии светит свет.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес.

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

И потому поэзия Ахматовой, да и сама Ахматова в эти годы, когда так страшно был искажен лик родины, когда для одних она была вся страх, вся страданье, а для других — боль разлуки, — все больше и больше становилась именно самим образом настоящей России, той, которая соединяет, которая живет под страхом и сияет из дали разлуки, которая сама собой свидетельствует о своей неистребимости. Голос не о России, а голос самой России, ее воздух, ее правда, ее свет.

Вера Ахматовой. И тут опять не обойтись без сравнения. Уже столько было сказано о религиозном вдохновении, о «романе с Богом» русской литературы. Действительно, вся она, на глубине своей, была всегда отнесена к последним вопросам бытия, так или иначе решала для себя вопрос о Боге. Но и тут Ахматова стоит особняком. Как и любовь, как и Россия, вера для нее — не «тема» и не «проблема», не что-то внешнее, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это снова что-то очень простое, ее почти «бабья вера», которая всегда живет, всегда присутствует, но никогда не «отчуждается» в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных славословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри и изнутри не столько указывает, сколько погружает все в какой-то таинственный смысл. Так, никто, кроме Ахматовой, не «заметил», что Блока хоронили в день Смоленской иконы Божьей Матери. И Ахматова не объяснила нам, почему это важно. Но в этом удивительном стихотворении о погребении Блока словно любя-

щая, прохладная материнская рука коснулась сгоревшего в отчаянии и страдании поэта. И, ничего не объясняя и не разъясняя в его страшной судьбе, утешила, примирила, умиротворила и все поставила на место, все приняла и все простила:

А Смоленская нынче именинница.
 Синий ладан над травой стелется,
 И струится пенье панихидное,
 Не печальное нынче, а светлое.
 И приводят румяные вдовушки
 На кладбище мальчиков и девочек
 Поглядеть на могилы отцовские.
 А кладбище — роща соловьиная,
 От сияния солнечного замерло.
 Принесли мы Смоленской заступнице,
 Принесли Пресвятой Богородице
 На руках во гробе серебряном
 Наше солнце, в муках погасшее,
 Александра, лебедя чистого.

Этой верой пронизан «Реквием». И тут тоже она присутствует не как какой-то высший смысл, объясняющий и анализирующий неслыханное человеческое страданье. Она просто есть, и самая страшная бессмыслица, самое бездонное горе не способны ее поколебать. Вот вынесен приговор, от совершилось непоправимое:

И упало каменное слово
 На мою еще живую грудь.
 Ничего — ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

Вот в этом удивительном, потрясающем «справлюсь с этим как-нибудь» больше сказано о вере Ахматовой, чем любой поэт сказал в специально религиозном стихотворении о своей вере. Тут все — и приятие, и смирение, и жалость, и слабость, и таинственная победа — «словно праздник за моим окном». Ахматова знает, где в Евангелии явлена, показана ее вера, ее место в мире веры:

Магдалина билась и рыдала,
 Ученик любимый каменел,
 А туда, где молча Мать стояла,
 Так никто взглянуть и не посмел.

Опять — женщина. Опять — мать. Она не «говорит» о вере, но она свидетельствует о ней каждой строчкой своих стихов. Сколько бы ни было горя и страдания в ее поэзии, будь то

страдания любви или материнской боли за страдание сына, всех сыновей и всех матерей, мир ее поэзии — светлый мир, и он светится верой. Верой, не отделяющей себя ни от кого и ни от чего, верой, все время претворяемой в жалость и утешение, в благодарность и хвалу, в присутствие таинственного «праздника за окном».

И, наконец, последнее. Теперь, когда ушла от нас Ахматова, когда созрела и завершилась эта длинная и прекрасная жизнь, стало очевидной то, что я назвал бы *царственностью* Ахматовой: стало ясно, что все эти годы она была царицей русской поэзии и сознавала это и принимала это как свое самоочевидное и необходимое служенье.

Она пережила все свое поколение — ни с чем в русской поэзии несравнимое поколение. Она разделила, приняла всю его страшную судьбу и по праву была наследницей и носительницей всей его славы. От «Бродячей собаки» и башни Вячеслава Иванова — до стояния у креста Сына — и не в переносном, а самом буквальном смысле, она исполнила и всю правду этого поколения и потому стала основой всего будущего русской поэзии. Она не просто писала стихи. Она носила передачи в тюрьму, где изнемогал Осип Мандельштам. Она триста часов стояла там, где ни ей, и никому другому не открыли страшного засова. Она никого не предала, но всех пожалела, приняла все страданье и ни от чего не отреклась. Она имела право сказать, как она сказала в очереди перед дверью ленинградской тюрьмы, когда ее кто-то опознал и спросил: «А это вы можете описать?» — И она сказала: «Могу». И потому она имела право сказать так же просто:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество.

Через все наше лихолетье она пронесла, ни разу не изменив, правду и совесть, то есть то, чем всегда светила нам подлинная русская литература. И потому, думается, не случайно одно из своих немногих чисто религиозных стихотворений она посвятила не только Матери, стоящей у креста, но и словам, услышанным Матерью:

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил?»
А Матери: «О, не рыдай Мене!»

По православному учению пасхальная победа начинается на самой глубине, в последней темноте Великой пятницы. Поэзия Ахматовой — это свет, светящий во тьме и которого тьме не объять.

М. П. АЛЕКСЕЕВ

А. А. Ахматова

5 марта 1966 г. скончалась Анна Андреевна Ахматова, выдающаяся русская поэтесса, член Пушкинской комиссии, на всем протяжении своей литературной деятельности много внимания уделявшая изучению жизни и творчества Пушкина. А. А. Ахматова (настоящая ее фамилия была Горенко) родилась 11 (23) июня 1889 г. в Одессе. С раннего детства А. А. жила в Царском Селе, и этот «город Пушкина», впоследствии получивший имя поэта и неоднократно воспетый ею, немало способствовал возникновению у А. А. культа Пушкина, который она сохранила на всю жизнь. Уже в первой книге ее стихотворений «Вечер» (1912) помещены были следующие строки о Пушкинелицеисте, дающие портрет юного поэта на фоне лицейского пейзажа:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Образ Пушкина и впоследствии возникал в ее поэзии в разные годы; избранные ею многочисленные пушкинские строки становились эпиграфами к собственным стихотворениям поэтессы, и весь строй ее поэзии неоднократно обнаруживал родственную связь с пушкинской лирикой — простотой и ясностью чеканного слова, подсказанного напряженностью и глубиной сердечных волнений. К 40-м годам относится написанная А. А. своеобразная характеристика поэта («Пушкин», 1943), а также следующие, например, примечательные строки из ее «Вереницы четверостиший»:

И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...

«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.

(Бег времени. М.; Л., 1965. С. 363)

Вся творческая жизнь А. А. была тесно связана с городом на Неве: Петербург—Петроград—Ленинград были вехами на ее трудном поэтическом пути, которым она шла, совершенствуясь и изменяясь, но никогда не изменяя самой себе. «В своем творчестве она соединяла Петербург Пушкина и Блока с нашей жизнью», — говорилось в некрологе А. А. Ахматовой, опубликованном от имени Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР (Ленинградская правда. 1966. 10 марта).

Перу А. А. принадлежит несколько исследовательских работ о творчестве Пушкина, составлявших весьма приметные явления в литературе о нем в послевоенные годы. В 30-е годы А. А. приняла близкое участие в работах Пушкинской комиссии, в частности в текстологических разысканиях и комментаторских трудах, предпринятых комиссией для подготовлявшегося перед памятной датой (1937 г.) нового академического Полного собрания сочинений Пушкина (см.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 364, 366). Статья ««Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина» написана А. А. в то время с подлинным артистическим блеском и была весьма важной по своим итогам. Изучая экземпляр 3-го издания романа Б. Констана «Адольф» (1824), находившийся в личной библиотеке Пушкина, А. А. установила, что многочисленные заметки на нем сделаны рукою Пушкина; кроме того, она опубликовала впервые прочтенный ею черновик XXXVIII строфы первой главы «Евгения Онегина» с упоминанием «Адольфа» и связала его со всеми другими многочисленными упоминаниями того же романа в писаниях Пушкина. Выяснилось, что «Адольф» занимал немалое место в истории жанровых исканий Пушкина в конце 20-х годов; он воспользовался некоторыми чертами Адольфа для создания образа своего героя в сатирическом романе («Евгений Онегин»), воспроизвел сюжетную схему «Адольфа» в своем замысле психологической повести (отрывок: «На углу маленькой площади», VIII, 141); тщательность изучения текста «Адольфа» оставила следы даже в романтической «маленькой трагедии» Пушкина «Каменный гость» (см.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. С. 94—114). В статье «Последняя сказка Пушкина» (Звезда. 1933. № 1. С. 161—176) А. А. установила, что одним из важнейших источников «Сказки о золотом петушке» была «Легенда об арабском звездочете»

В. Ирвинга в его книге «Альгамбра», вышедшей в Лондоне в 1832 г. и известной Пушкину по французскому переводу этой книги, изданному в том же году («Les contes d'Alhambra»). Сделанное А. А. сопоставление «Сказки о золотом петушке» с новеллой Ирвинга о звездочете показало, в каком направлении шла переработка Пушкиным этого сюжета: он сделал гротескным образ царя Додона, приблизил лексику своей сказки к просторечию и т. д.; отмечены были также «те исторические и биографические предпосылки, которые могли вызвать появление этой сказки-сатиры» (см.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 440). Эта статья А. А. — в особенности в связи с пересмотром в то время проблемы об источниках сказок Пушкина и об отношении их к русскому фольклору — вызвала продолжительную полемику, однако отрицательное отношение к установленной А. А. в данном случае зависимости сюжета пушкинской сказки от новеллы Ирвинга не имело достаточных оснований: речь шла не о гипотезе, а о бесспорном факте. «Справедливость мнения относительно использования Пушкиным в его работе над сказкой текста новеллы Ирвинга, — пишет новейшая исследовательница, — подтверждается и тем, что среди набросков Пушкина имеется отрывок, известный под произвольным названием “Опыт детского стихотворения” и восходящий непосредственно к одному месту “Легенды о звездочете”, являясь его пересказом» (Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX в. Петрозаводск, 1959. С. 177—182). Указанное А. А. сходство не исключало, однако, ни отличий между обоими произведениями, ни других литературных воздействий, которые в своей сказке испытал Пушкин. Пушкинский Звездочет похож на ирвинговского, но у Ирвинга не было «золотого петушка». Были сделаны попытки найти его в другом месте: некоторые исследователи допускали знакомство Пушкина с русскими народными сказками типа «Петух и жерновцы». Академик Андре Мазон предложил другую и более правдоподобную догадку в своей статье, к сожалению оставшейся мало известной советским пушкинистам, — «Pouchkine, Kinder et Irving» (Mélanges en l'honneur de Jules Legras. Paris, 1939. P. 1—8). В этой статье А. Мазон обратил внимание на то, что отдельные мотивы «Сказки о золотом петушке» встречаются в арабском фольклоре (откуда они, кстати, и попали в новеллу Ирвинга), в «Истории Нуреддина и рабыни Мириам», помещенной в книге «Contes inédits des une putis» (эта книга, составленная из арабских источников, переведенных на французский язык в 1828 г. Гаммером и Требутье-

еном, также находилась в библиотеке Пушкина; см. в этой книге: Т. II. С. 415—416), в «Guzla» П. Мериме; в особенности же обращает на себя внимание сказка Ф. М. Клингера «История золотого петушка» («Die Geschichte von Goldenen Hahn», 1785), которую Пушкин, несомненно, знал во французском переводе. Отметим попутно, что о знакомстве Пушкина с ирвинговской легендой о звездочете можно было бы говорить даже в том случае, если бы экземпляр «Альгамбры» отсутствовал в его библиотеке. Среди знакомых Пушкина по кружку «Зеленой лампы» был кн. Д. И. Долгорукий; впоследствии он был дипломатом, состоял одно время при русском посольстве в Мадриде и считался большим знатоком Испании. Среди приятелей Долгорукого был и В. Ирвинг, дававший ему для отзыва и исправлений рукописи своих очерков из книги «Альгамбра» задолго до их появления в печати (см.: Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX вв. из ленинградских рукописных собраний. М.; Л., 1960. С. 272).

В 1947 г. А. А. закончила еще одну статью, «“Каменный гость” Пушкина», но она увидела свет только десятилетие спустя (в кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1958. Т. II. С. 185—195). Эта статья представляет собою интересную попытку объяснить некоторые особенности «Каменного гостя» личными переживаниями Пушкина начала 1830 г. «Внимательный анализ “Каменного гостя”, — писала А. А. в этой статье, — приводит нас к твердому убеждению, что за внешне заимствованными именами и положениями мы, в сущности, имеем не просто новую обработку мировой легенды о Дон-Жуане, а глубоко личное, самобытное произведение Пушкина, основная черта которого определяется не сюжетом легенды, а собственными лирическими переживаниями Пушкина, неразрывно связанными с его жизненным опытом».

В последние годы жизни А. А. много работала над книгой о гибели Пушкина, которая близилась к своему завершению. Друзья покойной читали в рукописи готовые главы из этой книги («Alexandrine», «Пушкин и Невское взморье»). Надо надеяться, что эта значительная книга увидит свет в недалеком будущем.

